

О ПОЭТИЧЕСКОЙ РЕВНОСТИ

Миф о поэтическом братстве, о трогательной любви между поэтами – выдумка прекраснодушного литературоведения. Пушкин и Баратынский, Фет и Некрасов, Блок и Гумилёв, Маяковский и Пастернак... Какие это были напряжённые отношения! Какие страсти кипели!

Баратынского и Пушкина многое связывало, как в жизни, так и в поэзии. У них много перекличек в стихах, вольных и невольных совпадений, заимствований. Например, стихотворение Пушкина «Вновь я посетил тот уголок земли...» кажется составленным из первых фраз стихов Баратынского: «Есть милая страна, есть угол на земле...» и «Запустение» («Я посетил тебя, пленительная сень...»). У Баратынского: «И брызжет мельница. Деревня, луг широкий...» У Пушкина: «Рассеяны деревни – там за ними скривилась мельница...» Очевидна связь между «Признанием» Баратынского («Притворной нежности не требуй от меня...») и пушкинской элегией 26-го года «Под небом голубым страны своей родной...».

У Баратынского: Напрасно я себе на память приводил
 и милый образ твой, и прежние мечтанья:
 безжизненны мои воспоминанья...

У Пушкина: Напрасно чувство возбуждал я:
 из равнодушных уст я слышал смерти весть
 и равнодушно ей внимал я.

И даже пушкинскому «для бедной легковёрной тени» предшествовало у Баратынского: «уж ты жила неверной тенью в ней».

Совпадения Пушкина и Баратынского таковы, что становится очевидным: оба они были призваны решить сходные задачи, стоявшие перед поэтической речью. При этом Пушкин, делавший это более ярко и энергично, затмевал собрата по перу. Самолюбие Баратынского страдало. Гордость не позволяла ему подражать гению. Он стремится идти своим путём: начинает бороться с той лёгкостью и накатанностью поэтического стиля, для которых так много сделал вместе с Пушкиным в начале 20-х. От прелестной соразмерности и гармоничности стихотворной речи Баратынский переходит к грамматическим нарушениям нормативной лексики и синтаксиса, сознательно архаизируя и утяжеляя речь так, словно с гладкой наезженной дороги вдруг съезжаешь на обочину, где читателя трясёт на кочках и ухабах. Про него, как про Толстого, можно сказать, что он сознательно начинает писать «коряво». И только так, осмелев пойти против течения, Баратынский добивается того, что его стих уже

невозможно спутать с пушкинским.

Это не зависть. Завистник мечтает поменяться судьбой и талантом с объектом своего страстного чувства. Баратынский не хотел бы поменяться с Пушкиным своим даром. Он слишком дорожит своей независимостью в литературе. Они очень разные. Как свет и тьма. Пушкину ночь внушала чувство подавленности и тоски («Всюду мрак и сон докучный»). Для Баратынского всё наоборот: «Видений дня боимся мы, людских сует, забот юдольных...», «На что вы, дни...» Пушкин – «солнце русской поэзии», Баратынский – «сумрачный гений». Баратынский – поэт мысли («живых восторгов лёгкий рай я заменю холодной думой»), Пушкин ратует за «глуповатость» поэзии. (Конечно, Баратынского отличает от Пушкина не превосходство ума, а склонность к анализу. Пушкин слишком гармоничен, чтобы выглядеть поэтом какой-то одной черты).

Баратынский, обманутый лёгкостью слога, явно недооценивал интеллект Пушкина. Он был потрясён, заглянув в бумаги поэта после его смерти. И писал жене: «Ненапечатанные пушкинские стихотворения отличаются – чем бы ты думала? – силою и глубиною». Пушкин же оказался пронизательнее Баратынского, он с самого начала оценил его самобытность и независимость, «стройность и зрелость необыкновенную» самых первых опытов, всегда восхищался его творениями в письмах друзьям. В письме П.Вяземскому: «Но каков Баратынский? Признайся, что он превзойдёт и Парни, и Батюшкова. Оставим ему его эротическое поприще и кинемся каждый в свою сторону, а то спасенья нет». В письме А.Бестужеву: «Признание» – совершенство. После него никогда не стану печатать своих элегий».

Сквозь восхищение отчётливо просвечивает поэтическая ревность. Это у Пушкина-то! Да, он был далёк от самодовольства «самодостаточных» виршеплёттов, ничего не читающих и никем не интересующихся кроме себя, любимых. Баратынский тоже недоволен собой, в том числе и своим хвалёным «раздробительным» умом: «Всё мысль да мысль! Художник бедный слова...» Он сетует, что «на грудь мне дума роковая гробовой насыпью легла», и удушает его этот дар, он чувствует, что из-за него не будет ему хмеля на празднике жизни:

Но пред тобой, как пред нагим мечом,
мысль, острый луч, бледнеет жизнь земная!

Они оба завидуют друг другу: Пушкин – простодушно-открыто, Баратынский – не признаваясь в этом даже себе самому. Но это плодотворная, поэтическая, а не житейская зависть, следствием которой были не желание строить козни сопернику, опорочить его

творения, а требовательность к себе, стремление превзойти своего кумира, то есть зависть вдохновляющая, стимулирующая творческий импульс. Она не исключает симпатии к сопернику. Пушкин тянется душой к Баратынскому. Тот, напротив, старается отдалиться.

Но посреди печальных скал,
отвыкнув сердцем от похвал,
один, под финским небосклоном,
он бродит, и душа его
не слышит горя моего.

На самом деле Баратынский всю жизнь напряжённо думал о Пушкине, соизмерял с ним каждый творческий шаг. Книга «Сумерки», вышедшая в 1842 году, только формально посвящена Вяземскому, на самом деле – Пушкину. Постоянная мысль о нём пронизывает едва ли не каждое стихотворение. Но в целом их творчество – это переключка несогласия, спора. Например, любимому пушкинскому слову «пора» («Пора, мой друг, пора...», «Пора, пора! Рога трубят...» и т.д.) у Баратынского противостоит слово «поздно»: «Уж поздно. Встать, бежать готова с негодованием она», «Уж поздно. Дева молодая...» За этими двумя словами – всё различие их темперамента и мировоззрения. «Затем, что ветру и орлу// и сердцу девы нет закона» – с этими пушкинскими стихами спорят стихи Баратынского: «Бродячий ветер не волен, и закон //его летучему дыханью положён». И с ослепительной лучезарной «Осенью» Пушкина спорит «Осень» Баратынского, самое мрачное и трагическое стихотворение в нашей поэзии.

Да, Баратынский спорил с Пушкиным, но то был высокий, поэтический спор. Можно ли считать его проявлением низкой зависти и сальеризма? «Баратынский не был с ним искренен, завидовал ему, радовался клевете на него», – писал П.Нащокин. С.Соболевский, хорошо знавший и Пушкина, и Баратынского, называл это высказывание «сущей клеветой».

Баратынский был первым, кому Пушкин прочёл свои новые вещи, написанные им в Болдино в 1830 году, в том числе и «Моцарта и Сальери». А как слушал их Баратынский, мы узнаём из письма Пушкина П.Плетнёву: «Написал я прозою 5 повестей, от которых Баратынский ржёт и бьётся». Завистники так не слушают.

Но кто сказал, что одному поэту должно нравиться всё, что делает другой? Заболоцкий не любил Ахматовой, Ахматова не признавала Цветаеву, а позже – всех шестидесятников, в том числе и Ахмадулину. Мандельштам «не заметил» лучшей вещи М.Кузмина «Форель разбивает лёд». Ю.Карабчиевский ниспровергал Маяковского – да мало ли таких примеров.

Баратынскому не нравились «Сказки» Пушкина (в частности, «Сказка о царе Салтане»). Он вообще с сомнением относился к необходимости дублировать фольклор и перекладывать его на современный поэтический язык. Сам, во всяком случае, этого никогда не делал. И это его право. Что же касается его критических замечаний по поводу «Евгения Онегина» в письме Киреевскому, упрёков в подражании Байрону, действительно несправедливых, – опять-таки это его частное дело. Пушкин, например, тоже в частном письме высказывает едкие замечания по поводу «Горе от ума». Более того, вполне вероятно и, по-видимому, неизбежна ревность одного поэта к другому, особенно когда один из них незаслуженно обойдён вниманием и славой. Это ревность, обида, горечь – но не зависть.

Два ведущих поэта эпохи – Фет и Некрасов – оказались родоначальниками двух противоположных тенденций современной поэзии. Некрасов определил свой путь как путь социального трагизма, а Фет отстаивал позицию «певчей птицы» («как птица, распевает Фет, стихи печатает Некрасов», – писал Некрасов в одном из стихотворений), права «свободной поэзии», свободной от всяческих житейских скорбей, в том числе и гражданских.

Оба они, хотя и в разных сферах, оказались самыми практичными людьми из всех русских литераторов, только самим себе, своей воле, хватке и деловому умению обязанными завоёванным в жизни местом и нажитым богатством: в сфере сельской, хозяйственной – у Фета, в сфере более «поэтической» – журнальной и газетной – у Некрасова. Хотя по духу они совершенные антиподы.

Молчи, поникни головою,
как бы представ на Страшный суд,
когда случайно пред тобою
любимца муз упомянут!

На рынок! Там кричит желудок,
там для стоокого певца
ценней грошовый твой рассудок
безумной прихоти певца. –

так отчитал Фет Некрасова в стихотворении «Псевдопоэту», в письме назвав его стезю «тесной и грязной». Говоря при этом, что он, Фет, выучил всех грустить, в то время как Некрасов – проклинать. Но у Некрасова была своя правда, которую он высказал в стихотворении «Блажен незлобивый поэт...» Он откликнулся им на смерть Гоголя, но, может быть, ещё больше говорил в нём о себе и о своей судьбе:

Блажен незлобивый поэт,
в ком мало желчи, много чувства:
ему так искренен привет
друзей спокойного искусства;

ему сочувствие в толпе,
как ропот волн, ласкает ухо,
он чужд сомнения в себе –
сей пытки творческого духа.

Любя беспечность и покой,
гнушаясь дерзкою сатирой,
он прочно властвует толпой
с своей миролюбивой лирой.

Дивясь великому уму,
его не топят, не злословят,
и современники ему
при жизни памятник готовят...

Но нет пощады у судьбы
тому, чей благородный гений
стал обличителем толпы,
её страстей и заблуждений.

Питая ненавистью грудь,
уста вооружив сатирой,
проходит он тернистый путь
с своей карающею лирой.

Его преследуют хулы:
он ловит звуки одобренья
не в сладком ропоте хвалы,
а в диких криках озлобленья.

И веря и не веря вновь
мечте высокого призванья,
он проповедует любовь
враждебным словом отрицанья, –

и каждый звук его речей
плодит ему врагов суровых,
и умных, и пустых людей,
равно клеймить его готовых.

Со всех сторон его клянут,
и только труп его увидя,
как много сделал он, поймут,
и как любил он, ненавидя!

Высказывалось предположение, что под этим незлобивым поэтом имеется в виду Жуковский. Но это вряд ли. Жуковский не мог быть равновеликой Гоголю фигурой, чтобы быть противопоставленным ему. «В ком мало желчи» – какая желчь у Жуковского? хотя бы и малая. Некрасов имел в виду Пушкина. Но не буквально его, а, скажем, тип его музыки. Скрытую полемику с ним Некрасов продолжает и в стихотворении «Муза»: «Нет, музыки, ласково поющей и прекрасной, не помню над собой я песни сладкогласной». (Предмет полемики – стихотворение Пушкина «Наперсница волшебной старины»). У Пушкина:

Ты, детскую качая колыбель,
мой юный дух напевами пленила
и меж пелен оставила свирель,
которую сама заворожила.

Образы пушкинского стихотворения Некрасовым привлечены и сразу же отвергнуты: не «детскую качая колыбель» – а «играла бешено моею колыбелью», не «меж колен оставила свирель», а – «в пелёнках у меня свирели не забыла». Образ некрасовской «кнотом иссеченной музыки» полемичен по отношению к гармоничному образу пушкинской музыки, девы-любвицы. Это разные типы мировосприятия.

Совершенно разные типы музыки были у Фета и его друга детства Аполлона Григорьева. Стихи Григорьева весьма уступали фетовским, и Аполлон нередко приходил в отчаяние от неуклюжести собственных виршей, особенно заметной на фоне благозвучия фетовских строк. Он даже выразил это в стихах:

Я не поэт, о Боже мой!
Зачем же злобно так смеялись,
так ядовито насмеялись
судьба и люди надо мной?

Но чистая душа А.Григорьева не знала зависти, он бурно восторгался крылатой фетовской лёгкостью, отзываясь на неё с чуткостью эоловой арфы, проклиная корявую нескладицу своих бедных и таких искренних стихов. Фет писал потом, что у него никогда не было такого ревностного поклонника и собирателя его стихотворных набросков, как Аполлон Григорьев. Тот тщательно переписывал стихи друга в тетрадь, а позже, в 1840 году, издал первую книжечку стихов Фета. Он посвятил ему свою автобиографическую поэму «Встреча», рассказ «Человек будущего».

Такое чистое, бескорыстное отношение к превосходящему тебя по уровню таланту – большая редкость. Не знала зависти гениальная душа и муза Марины Цветаевой. Она не только оставила нам живые портреты знаменитых поэтов-современников, запечатлев их в слове,

как в камне, но способна была воспеть и стихи безвестной монахини, признавая, что они вызывают у неё «чувство стыда за свои собственные». А её восхищённые письма Ахматовой, посвященные ей дивные гимны поклонения и любви! А вот Ахматовой этого было не дано. Потребность ощущать себя королевой поэзии не допускала соперниц. Единственная поэтесса, которую она признавала, была Мария Петровых (мне кажется, что она любила её главным образом за скромность и нежелание печататься, стремление ступать на фоне мэтрши). Но и о тех немногих, кого любила – Петровых, Тарковском, Бродском – не оставила никаких благодарных воспоминаний.

Ахмадулина. Вот кто начисто был лишён зависти! Её смиренно-восторженные стихи о Цветаевой, Лермонтове, Пастернаке. Её сокровенные слова любви и верности поэтам-товарищам. Когда не «Платон мне друг, но...», а:

...всё это так. Но всё ж он мой товарищ.
А я люблю товарищей моих!

Её любили помимо всего прочего ещё и вот за этот щедрый дар дружбы и бескорыстного восхищения. И как мерзко после всего этого читать злобно-завистливые строки Ю.Мориц об Ахмадулиной: «Я с гениями водку не пила и близко их к себе не подпускала...» Ну при чём здесь это?!

Есенин и Блок. Блок был «первым живым поэтом», к которому отправился Есенин со своими стихами, приехав из Москвы в Питер. По существу, Блок первым распознал исключительную одарённость молодого деревенского поэта. «Стихи свежие, чистые, голосистые, многословные. Язык», – записывает он в дневнике в день их встречи. Но продолжения их отношений не захотел, отклонял все попытки Есенина встретиться вновь: «Мне даже думать о Вашем трудно, такие мы с Вами разные». Есенин не забудет этого. И позже, оперившись, задиристо назовёт Блока «по недоразумению русским», который «на наших полях часто глядит как голландец». Что это – месть? Зависть к чужому, недоступному ему миру высокой культуры, куда не захотел его допустить Блок? Ущемлённость крестьянского происхождения? Похоже, по этой причине Есенин терпеть не мог Пастернака и Мандельштама, мотивируя свою враждебность их недостаточной «русскостью».

Непримиримость бывших друзей Пастернака и Маяковского. «Вы любите молнию в небе, а я её люблю в уютге», – кратко пояснил Маяковский суть их разногласий. Пастернак, в свою очередь, упрекал:

Я знаю, Ваш путь неподделен,
но как Вас могло занести

под своды таких богаделен
на искреннем Вашем пути?!

Многолетняя идейно-художественная вражда Гумилёва и Блока. И в то же время Гумилёв не может скрыть своего восхищения соперником: «Если бы прилетели к нам марсиане и нужно было бы показать им человека, я бы только его и показал – вот, мол, что такое человек!»

Творческая зависть – это не огульное неприятие чуждого тебе автора. Подсознательно она таит в себе восхищение, сознание чужого превосходства. На каждого она действует по-разному: кого-то стимулирует, кого-то парализует, заставляя «кончить полной немотой».

Блоку «мешал» писать Лев Толстой. Толстому – Шекспир. Этим же чувством, видимо, был вызван возглас Мандельштама в «Бродячей собаке»: «Я не могу читать, когда там молчит Хлебников!»

Притчей во языцех уже стало враждебное отношение Бродского к Евтушенко. Это началось в 60-х годах, когда Евтушенко активно печатался, выступал, выезжал за границу и стал для Бродского воплощением ненавистного ему легализованного советского успеха. Сам он был лишён тогда возможности и публиковаться, и выезжать. И хотя Евтушенко всячески старался помочь Бродскому, пытался напечатать его в «Юности» (это не состоялось из-за нежелания Бродского идти ни на какие редакторские компромиссы), делал неоднократные попытки к примирению, но вся его доброжелательность разбивалась об утёс ненависти будущего Нобелевского лауреата. Это носило какой-то болезненный характер и продолжалось даже после того, когда слава Бродского стала мировой и намного перегнала Евтушенковскую. Шла ли речь об издании книги Бродского в Москве, когда ему прислали договор с указанием тиража: 50 тысяч экземпляров, – первый его вопрос был: «А какой тираж у Евтушенко?» Евтушенко оставался для него образцом преуспевающего поэта в России, и он, как ни странно, продолжал вести свой спор с ним, может быть, соревнование.

Когда Евтушенко приняли в Американскую академию искусства и литературы – Бродский в знак протеста вышел оттуда, объяснив это тем, что не хочет «хотя бы теоретически оказаться с ним в одном помещении». Застарелую антипатию Бродского к Евтушенко С.Довлатов впоследствии смешно обыграл в одной из своих юмористических зарисовок. Якобы он навещал Бродского в больнице, где тот лежал после операции совершенно серый, едва мог поднести стакан воды к губам. Чтобы как-то подбодрить поэта, Довлатов говорит:

– Вот Вы тут, Иосиф, прохлаждаетесь, а в России перестройка набирает силу. Сам Евтушенко выступил против колхозов.

Бродский поставил стакан и еле слышно произнёс: «Если он против, то я – за».

Евтушенко оказался благороднее, напечатав Бродского в своей антологии «Строфы века» после его смерти. Думаю, что Бродский никогда бы этого не сделал.

Зависть – чувство, которое человек обычно тщательно скрывает. Э.Лимонов в своей «Книге мёртвых» выставляет его напоказ. Так сказать, обнажение приёма. «Я считал себя талантливее Бродского, – пишет мемуарист, рассказывая, как завидовал благополучию поэта, его славе, премиям, и тут же иронически сопоставляя это соперничество с историей отца, карьере которого мешал некто капитан Левитин: «Я насмешливо думал, что это у меня наследственное, что мой Левитин – Бродский». Самоирония однако не мешает Лимонову называть Бродского «поэтом-бухгалтером», «крайне посредственным обыкновенным ленинградским поэтом», «средним среди кушнеров и рейнов».

Когда читаешь «Воскресение Маяковского» Ю. Карабчиевского, сталкиваешься с яростным неприятием поэта. Но это не зависть, не сведение счётов. Там всё настолько убедительно и доказательно, что даже я, например, всегда безумно любившая раннего Маяковского, невольно соглашаюсь с тем или иным авторским постулатом. Это критический взгляд, иная точка зрения. Это всегда интересно, даже если в чём-то несправедливо. Такие работы освежают мозги, проясняют замысленный взгляд, разрушают стереотипы, учат самостоятельному мышлению. Когда же читаешь Лимонова или В.Соловьёва, где они высказывают своё резко негативное отношение к Бродскому, А.Кушнеру – то видишь одну патологическую злобу, которая застит глаза, и – никаких аргументов.

В.Соловьёв в своём «Запретном романе о Бродском» высказывает такую фрейдистскую мысль, что Дмитрий Бобышев не просто «запал» на Марину Басманову, но рассматривал её скорее как трофей в поэтическом турнире с Бродским. Якобы Бродский был объектом его поэтической ревности, и Бобышев поединок с поля поэзии, где он был обречён на проигрыш, перенёс на любовное поле и там взял-таки реванш за литературное поражение, уязвив и унизив друга, в котором видел соперника, а тот в нём – нет. Любопытно, но маловероятно. Соловьёв, как всегда, собственную патологию приписывает другим.

Из письма Н.С.Могуевой от 30 марта 2004 года: «Зависть. Страшное чувство. Кто-то здорово сказал: «Истинные таланты обладают печальным свойством вызывать ненависть серости». И, как

это ни горько, но это почти наше национальное качество. Ещё давным-давно историк Катошихин написал: «И искони в Российской земле лукавый дьявол всеял плевелы свои, аще человек хотя мало придёт в славу и честь и в богатство, не возненавидите не могут». Относитесь к этому как к неизбежному, хотя понимаю, что это очень не просто».